

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Б11

Серия «Эксклюзивная классика»

Anthony Burgess
A CLOCKWORK ORANGE

Перевод с английского *В. Бошняка*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Печатается с разрешения The Estate of Anthony Burgess
и литературного агентства Artellus Limited.

Бёрджесс, Энтони.

Б11 Заводной апельсин : [роман] / Энтони Бёрджесс ; [пер. с англ. В. Б. Бошняка]. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 256 с. — (Эксклюзивная классика (Лучшее)).

ISBN 978-5-17-104151-9

«Заводной апельсин» – литературный парадокс XX столетия. Продолжая футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение malltshipalltshikov и kisok «надсатых», Энтони Бёрджесс создает роман, признанный классикой современной литературы.

Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников и сам становится жертвой насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и превращая его в «заводной апельсин»? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и вопрос этот автор задает читателю.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© The Estate of Anthony Burgess, 2011

© Перевод. В. Бошняк, 2011

© Издание на русском языке
AST Publishers, 2017

ISBN 978-5-17-104151-9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

— Ну, что же теперь, а?

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и Тём, причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле glupyi, а сидели мы в молочном баре «Когова», шевелия mozgoi насчет того, куда бы убить вечер — подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Когова» — это было zavedenije, где давали «молоко-плюс», хотя вы-то, блин, небось уже и запомнили, что это было за zavedenije: конечно, нынче ведь все так скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там «молоко-плюс» — то есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых shtutshek в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было pitt

его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из shtutshkek, от которых идет тихий baldiozh и ты минут пятнадцать чувствуешь, что сам господь бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было pitt «молоко с ножами», как это у нас называлось, от него шел tortsh и хотелось dratsing, хотелось gasitt кого-нибудь по полной программе, одного всей kodloi, а в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили.

Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке toltshok какому-нибудь старому hanyge, obtriasi его и смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас в общем-то особенно не понуждало, как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать krasting в лавке у какой-нибудь трясущейся старой ptitsy, а потом gvatt kogti с содержимым кассы. Однако недаром говорится, что деньги — это еще не все.

Каждый из нас четверых был prikinut по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в облипку со вшитой в шаг железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи, мы ее так песочницей и называли, а пристраивалась она под штаны как для защиты, так и в качестве украшения, которое при определенном освещении довольно

ясно вырисовывалось, и вот, стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука, у Пита был guker (рука, значит), Джорджик этакую затейливую раздобыл, в форме tsvetujotshka, а Тём додумался приспособить нечто вовсе паскудное, вроде как бы клоунский morder (лицо, значит), — так ведь с Тёма-то какой спрос, он вообще соображал слабо, как по zhizni, так и вообще, ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами (s myshtsoi, как это у нас называлось), в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали и башмак носили мощный, типа govnodav, чтобы пинаться.

— Ну, что же теперь, а?

За стойкой рядышком сидели три kisy (девчонки, значит), но нас, ratsanov, было четверо, а у нас ведь как — либо одна на всех, либо по одной каждому. Kisy были прикинуты дай бог — в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше чем на трех или четырехнедельную ее зарплату, да и косметика соответствовала (радуги вокруг glazzjev и широко размалеванный got). В ту пору носили черные платья, длинные и очень строгие, а на

grudiah маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами — Джо, Майк и так далее. Считалось, что это malltshiki, с которыми они ложились spatt, когда им было меньше четырнадцати. Они все поглядывали в нашу сторону, и я уже чуть было не сказал (тихонько, разумеется, уголком rta), что не лучше ли троим из нас слегка porezvittsia, а бедняга Тём пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что postavitt ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозой синтемеска, хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С виду Тём был весьма и весьма отвратен, имя вполне ему подходило, но в mahatshe ему цены не было, особенно liho он пускал в ход govnodavu.

— Ну, что же теперь, а?

Hanurik, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сиденье, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном otjezde: glazzja остекленевшие, сидит и какую-то murniu бубнит типа «Работы хрюк-хряк Аристотеля брым-дрым становятся основательно офиговательны». Hanurik был уже в порядке, вышел, что называется, на орбиту, а я знал, что это такое, сам не раз пробовал, как и все прочие, но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая shtuka, выход для трусов, блин. Выпьешь это хитрое молочко, свалишься, а в bashke одно: все вокруг bred и hrenovina, и вообще все это уже когда-то было. Видишь все нормально, очень даже ясно

видишь — столы, музыкальный автомат, лампы, kisok и malltshikov, — но все это будто где-то вдалеке, в прошлом, а на самом деле ni hrena и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, смотришь, как в трансе, и в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкирку взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вытрясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе plevatt, ты только смотришь и ждешь, пока твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть, желтеть, желтеть... Потом перед глазами как пойдет все взрываться — прямо атомная война, — а твой башмак, или ноготь, или там грязь на штанине растет, растет, блин, пухнет, вот уже весь мир, zaraza, заслонила, и тут ты готов уже идти прямо к богу в рай. А возвратишься оттуда раскисшим, хныкающим, morder перекошен — уу-ху-ху-хуууу. Нормально в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с богом. Такое может все силы из парня высосать, все до капли.

— Ну, что же теперь, а?

Радиола играла всюю, причем стерео, так что golosnia певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Берти Ласки наяривал одну старую shtuku под названием «Слупи с меня краску». Одна из трех kisok у стойки, та, что была в зеленом па-

рике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел torsh от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «куча мала». Я заорал «Ноги-ноги-ноги!» как зарезанный, треснул отъехавшего hanugu по чану, или, как у нас говорят, v tykvi, но тот даже не почувствовал, продолжая бормотать про «телефоническую бармахлюндию и грануляндию, которые всегда тыры-дырбум». Когда с небес возвратится, все почувствует, да еще как!

— А куда? — спросил Джорджик.

— Какая разница, — говорю, — там glianem — может, что и подвернется, блин.

В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную potsh и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Бутбай-авеню и там нашли то, что искали, — маленький toltshok, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный stari kashka, немощный такой tshelovek в очках, хватающий разинутым hlebalom холодный ночной воздух. С книгами и задрыганым зонтом под мышкой он вышел из публичной biblio на углу, куда в те времена нормальные люди редко заходили. Да и вообще в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты — полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные malltshipalltshiki

вроде нас, так что этот stari профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, podrulivajem к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, блин».

Глянул он на нас этак puglovato — еще бы, четверо таких ambalov, да еще откуда ни возьмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю, — говорит, — в чем дело?» При чем этак зычно, учительским тоном: пытается, значит, представить, будто он и не puglyi вовсе. Я говорю:

— Вижу, вот книжонки у тебя под мышкой, блин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает.

— Да ну, — сказал он, весь дрожа. — Неужто? Впрочем, да, да. — А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посередине этакого улыбчивого аккуратного квадрата.

— Ага, — говорю. — Очень было бы интересно глянуть, блин, если разрешишь, конечно, что это у тебя за книжки такие. Больше всего на свете люблю хорошенькие чистенькие книжки.

— Чистенькие? — удивился он. — Хм, чистенькие. — И тут Пит хватъ у него из-под мышки всю его drebedenn и скоренько нам раздал. Каждому по книжке досталось, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию», я раскрыл ее и говорю: «Здóрово,

первый сорт», а сам страницы листаю, листаю. И вдруг говорю таким голосом раздраженным:

— Эт-то еще что такое? Гадкое слово, мне на него и глядеть-то стыдно. Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!

— Но где? — засуетился он. — Где? Где?

— Ого, — вступил Джорджик, — вот уж где грязь так грязь! Вот: одно слово на букву «х», а другое на «п». — У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок».

— Надо же, — присоединился к нам и balbesina Тём, глядя через плечо Пита и, как всегда, perebarstshivaja. — И впрямь, все как по нотам: и чего куда, и на картинке показано. Слушай, — говорит, — да ты же просто грязный kozlina!

— И это в таком почтенном возрасте, ай-яй-яй, — заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книгу пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами, а особенно старались Тём с Питом, вдвоем расправляясь с «Ромбоэдрическими структурами». Stari intell сразу в kritsh: «Они не мои! Хулиганство! Вандализм! Это муниципальная собственность!» — или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук, но это уж вовсе была hohma.

— Что ж, придется тебя, братец, проучить, — сказал я. — Достукался. — Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко, нелегко было устроить ему razdryzg — еще

бы, книга была старая, выпущенная во времена, когда все делали очень добротню, вроде как не на один день, но я все же выдираю из нее страницы, комкаю и осыпал ими stari kashku, они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки, при этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся — клоун и есть клоун.

— Вот тебе, вот тебе, — приговаривал Пит. — Получай под расписку, погань, грязный порнографист!

— Поганое ты otroddje, padla, — сказал я, и начали мы shustritt. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире rastt, чтобы Тёму удобно было выдрать у него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок, хотя тоже довольно крепенькие попались, гады, из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. Kashka что-то там нечленораздельное зачмокал — «чак-чук-чок», а Джорджик бросил держать его за gubiohi и сунул ему toltshok кастетом в беззубый rot, отчего kashka взвыл и хлынула кровь, блин, красота, да и только. Ну, а потом мы просто раздели его, сняв все до нижней рубахи и кальсон (staryh-staryh; Тём чуть bashku себе, на них глядя, не othohotal), потом Пит laskovo лягнул его в брюхо, и мы оставили его в покое. На заплетающихся ногах он пошел прочь — мы ему не очень-то сильный toltshok

сделали, — только все охал, не понимая, где он и что с ним, а мы похихикали tshutok и прошлись по его карманам, пока Тём выплясывал вокруг с замызганным зонтиком, но в карманах мы мало чего обнаружили. Нашли несколько старых писем, из которых некоторые, написанные еще в шестидесятых, начинались с «милый мой дорогой», и всякой прочей driani, еще нашли связку ключей и старую пачкающуюся авто-ручку. Старина Тём прервал свою пляску с зонтиком и, конечно же, не выдержал — принялся читать одно из писем вслух, вроде как чтобы показать всей пустой улице, что он умеет читать. «Мой дорогой, — начал он своим писклявым голосом, — пока тебя нет со мной, я буду все время о тебе думать, а ты не забывай, пожалуйста, одевайся потеплее, когда выходишь из дому вечерами». Тут он выдал gromki такой smeh — «ух-ха-ха-ха» — и притворился, будто вытирает этим письмом себе jamu.

— Ну ладно, — сказал я. — Завязываем, блин.

В карманах брюк у stari kashki нашлось немного babok (денег, стало быть) — не больше трех hrustov, так что всю его melotshiovku мы раскидали по улице, потому что все это было курам на смех по сравнению с той капустой, что распирала наши карманы. Потом мы разломали зонтик, всем тряпкам и одежде устроили razdryzg и разметали их по ветру, блин, и на том со старым kashkoj-учителем было покончено. Конеч-

но, я понимаю, то был вариант, так сказать, усеченный, но ведь и вечер еще только начинался, так что никаких всяких там извинни-ненний я ни у кого за это не просил. «Молоко с ножами» к тому времени как раз начинало чувствоваться, что называется, *budte zdraste*.

На очереди стояло сделать смазку, то есть слегка разгрузиться от капусты, тем самым, во-первых, обрета дополнительный стимул, чтобы *triahnutt* какую-нибудь лавочку, а во-вторых, купив себе заранее алиби, и мы пошли на Эмисавеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре *babusi*, *lakaja* помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП (государственных пособий). Тут мы уже выступали этакими *rai-malltshikami*, улыбались, делали благовоспитанный *zdrasting*, хотя старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, перевитые венами *rukegu* затряслись, расплескивая пиво из стаканов на пол.

— Оставьте нас в покое, ребята, — сказала одна из них, вся такая морщинистая, будто ей тысяча лет, — не трогайте бедных старух. — Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и стали ждать, когда придет официант. Он явился, нервно вытирая руки о грязный фартук, и мы заказали себе четыре «Ветерана», а «Ветеран» — это в те времена был такой коктейль очень модный, из рома и шерри-бренди, а еще не-

которые любили добавить туда сок лайма — тогда это называлось «канадский вариант». А я и говорю официанту:

— А ну-ка, обслужи babushek по полной программе. Всем по двойному виски и еще дай им чего-нибудь взять с собой. — Я вывалил из кармана на стол весь свой запас deng, и трое моих друзей сделали то же самое — ох, времена были! В общем, появились на столе у регеругlyh старых вешалок стаканы с горючкой, а они сидят ни живы ни мертвы и не знают, чего сказать. Насилу одна из них выдавила: «Спасибо, ребятки», но по ним было видно: смекнули уже, что тут дело нечисто. Ладно, выдали мы им по бутылке «Янк-Дженерал» — коньяка, значит, причем это уже с собой, а я еще дал deng, чтобы им с утречка принесли на дом по дюжине пива, а они, дескать, пусть только свои voniutshije адреса рассыльному оставят. Потом на оставшуюся капусту мы скупили в zabegalovke все пироги, крекеры, бутерброды, чипсы и шоколадки, и все это тоже для старых кочерыжек. Потом говорим: «Stshias вернемся», и под бормотанье старых куриц — мол, спасибо, ребятки, дай бог вам здоровья, мальчики, — мы уже пошли на выход без единого цента deng в карманах.

— Ну и ну, прям что в самом деле какие-то мы dobery, — сказал Пит. Причем явно наш темный Тём ни в зуб ногой не vjezzhaejt, но он помалкивал, чтобы мы не назвали его лишний раз

glurym и bezmozglym. Ну и пошли мы тут же за угол на Эттли-авеню, там в тот час еще работала лавка, где продавали сласти и tsygarki. Мы сюда уже месяца три как не заходили, на улице было тихо, пустынно — ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей ополчения, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. Надели мы маски — тогда это было новшество, чудненькие такие, в самом деле baldiozhno сделаны в виде лиц всяких исторических персонажей (когда покупаешь, тебе в магазине сразу и фамилию его говорят), так что я был Дизраэли, Пит был Элвис Пресли, Джорджик был Генрих VIII, а Тём был поэт по имени П.Б. Шелли; маски были просто отпад: волосы и всякое такое, и еще специальная пластмассовая штучка приделана — дернешь, и вся fignia тут же скатывается трубочкой, чтобы, когда дело сделано, спрятать в сапог; в общем, надели и втроем вошли. Пит остался снаружи на striome — не то чтобы это так уж нужно было, просто на всякий rozharni. Очутившись в лавке, мы тут же бросились к Слаuzu — он там хозяином был, толстый такой kashka с пивным брюхом, который сразу все рoni и кинулся к себе в контору, где у него был телефон, а может, даже и хорошо смазанная шестизарядная pushka. Тём лихо перемахнул прилавок, взметнув ворох пачек с куревом, которые с треском ударили в большой плакат, на котором какая-то kisa демонстрировала покупа-